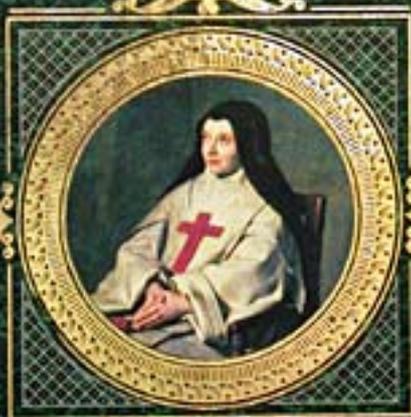


ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Дени
ДИДРО
Монахиня



Дени Дидро Монахиня

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179507
Дени Дидро Монахиня (сборник): Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-10196-2
Оригинал: DenisDiderot, "La religieuse"
Перевод:
Дебора Григорьевна Лившиц*

Аннотация

«... Замысел „Монахини“ (1760) вызревал постепенно под влиянием сенсационных разоблачений тайн, скрытых за монастырскими стенами, случаев дикого изуверства, особенно участившихся в конце 50-х годов XVIII века, во время очередного столкновения между сторонниками ортодоксальной римской церкви и янсенистами. Монастырский быт стал предметом общественного обсуждения. Дидро принял в этом самое активное участие. ...»

Содержание

Дени Дидро	4
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Дени Дидро Монахиня (роман)

От ответа маркиза де Круамара – если только он мне ответит – зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует – да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, – чтобы эти записки были закончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, – этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, нежили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» – она никогда не относилась этих слов на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной – словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя – откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальных людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева – а он был горяч, – некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги – все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, – кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый моло-

дой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь Св. Марии – мой первый монастырь – с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода: она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услышав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже, – сказал отец Серафим, – ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель: вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро...» Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неопишемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) На вас лица нет! Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» – но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства – великое искусство монахинь. Затем она сказала – и, право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что, – сказала она, – почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу,

чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так! Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему – только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому – жить. Два года – немалый срок: мало ли что может случиться за это время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. «Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило?»

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно – о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы – ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проникательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии – теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.



Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, подготовлял меня, а епископ Алепский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не знаю, – сказала она, посмотрев на меня, – почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна – премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдите немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя¹ – урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну а теперь поговорим серьезно. Вы выиграла два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда, – это не так уж невозможно». – «Сударыня, об этом нечего и думать». – «Вы долго

¹ Марсель – знаменитый парижский учитель танцев.

были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады...»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же, – благодарение богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц – всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача – скрыть от вас все тернии монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду – и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемеров и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет, – а быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья – в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой: она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды – она переживала тогда критический возраст – ее сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она читалась зловредных книг, которые и помutilи ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна

огненная; все они, монахини, просто несчастны из-за нее: ведь это неслыханный случай – иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вот письмо...»

При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом:

– От матушки?

– Вы угадали. Вот, прочтите...

Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица, я делала нервные движения: то я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя.

– Ну что же, дитя мое, что мы ответим на это?

– Сударыня, вы знаете сами.

– Да нет же, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны: ваше семейство понесло убытки. Дела ваших сестер расстроены, и у той, и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас: вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Впрочем, вы можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно: это – звание, к которому нас призывает бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье; ужели я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

– Нет, сударыня.

– Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию?

– Нет, сударыня.

– Вы не подчинитесь воле ваших родителей?

– Нет, сударыня.

– Кем же вы хотите быть?

– Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду.

– Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушке...

Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между тем ко мне поспешили направить монастырского духовника; ко мне прислали ученого богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей; меня поручили особому попечению наставницы; я увиделась с его преосвященством епископом Алепским; мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешались в мое дело, хотя я совсем их не знала; у меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками; приезжал отец, сестры присылали мне письма, последней явилась мать – я выдержала все. Тем не менее день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все; когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него.

С этого момента я была заперта в келье; мне предписали молчание, разлучили меня со всем миром, предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собиралась сдаваться! Я была готова ко всему, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени может продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно окончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела – ни настоятельницы, ни наставницы и послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей: в действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласке, и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней, раз таково их требование. Весь монастырь возликовал; снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания. Мое сердце вняло гласу божию, я создана для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все; нельзя исполнять свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница послушниц никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству, она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила настоятельнице, что надо проявить твердость – и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты: это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает; что я избавилась от него и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность; что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить...» Мне казалось несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от бога, и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие – что они внушены мне богом. Одно и то же зло исходит либо от бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает.

Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом – он холодно говорил со мной. Виделась с матерью – она поцеловала меня. Получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий г-н Сорнен, викарий церкви Св. Роха, а г-н Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства: я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда через привратницу я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству; кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожи-

дал, не преминула явиться; пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложила. Я сидела на кровати и призывала на помощь бога. Я поднимала руки к небу и молила его быть свидетелем совершаемого надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, представляла себе девушку, громко протестующую против обряда, на который она как будто сама согласилась, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. «О боже, что со мной будет?..» Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, у меня дрожали колени, зубы стучали. За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке распростертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была совершенно без сил. Мне задали несколько вопросов, поняли по моим ответам, что я не имею никакого представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнения этого дня. Я ответила утвердительно, и, против всеобщего ожидания, обряд не был отменен.

Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забило сердце. Пришли одевать меня. Этот день – день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молодой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смирение, которым я отнюдь не обладала, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие между его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смутило меня, и я начала колебаться; но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец страшная минута наступила. Когда надо было стать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва, которую влекли к алтарю; со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей – я твердо уверена в этом. Все встали, некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал:

– Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?

– Обещаю.

– По доброй ли воле и желанию находите вы здесь?

Я ответила: «Нет», – но сопровождавшие меня монахини ответили за меня: «Да».

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

С секунду я колебалась, священник ждал, и я ответила:

– Нет, сударь.

Он повторил:

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я ответила более твердым голосом:

– Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

– Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно.

– Отец мой, – сказала я ему, – вы спрашиваете, даю ли я богу обет целомудрия, бедности и послушания. Я хорошо расслышала вас и отвечаю: «Нет».

Затем, повернувшись к присутствовавшим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала:

– Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели...

При этих словах одна из сестер задернула решетку занавесом, и я увидела, что продолжать бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками. Я слушала их, не говоря ни слова. Меня отвели в келью и заперли там на ключ.

Здесь, в одиночестве, отдавшись своим мыслям, я начала успокаиваться душой. Я еще раз обдумала свой поступок и ничуть не раскаялась в нем. Я решила, что после той огласки, которой я добилась, меня не смогут надолго оставить здесь и, пожалуй, не посмеют отдать в другой монастырь. Я не знала, что меня ожидает, но, по моему убеждению, ничто не могло быть хуже необходимости стать монахиней помимо воли. Довольно долгое время со мной никто не разговаривал. Женщины, приносившие мне еду, ставили ее на пол и молча уходили. Месяц спустя мне принесли мирскую одежду, и я сняла с себя монастырскую. Явилась настоятельница и велела мне следовать за ней. Я дошла с ней до монастырских ворот. Здесь я села в экипаж, где меня ожидала моя мать. Она была одна. Я села на переднее сиденье, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова. Глаза мои были опущены, и я не смела взглянуть на нее. Не знаю сама, что происходило в моей душе, но вдруг я бросилась к ногам матушки. Я не говорила ни слова, только рыдала и задыхалась. Она сурово оттолкнула меня. Я не поднялась с колен, у меня пошла носом кровь. Несмотря на сопротивление, я схватила ее руку; орошая ее слезами и лившейся кровью, прижимаясь к ней губами, я целовала ее и говорила: «И все-таки вы моя мать, все-таки я ваша дочь...» Она ответила (оттолкнув меня еще суровее и вырвав руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, села на свое место и спустила чепец на лицо: в звуке ее голоса было столько властности и твердости, что мне захотелось укрыться от ее взгляда. Слезы и кровь, которая текла у меня из носа, смешались вместе, струились по рукам, и, сама того не замечая, я была вся залита ими. Из нескольких произнесенных матерью слов я поняла, что запачкала ей белье и платье и что она сердится на это. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную маленькую комнатку. На лестнице я снова бросилась к ногам матери, схватила ее за платье, но она только обернулась в мою сторону – это было все, чего я добилась, – и взглянула на меня, причем поворот ее головы, губы, глаза выразили такое негодование, которое я не в силах передать вам, но которое вы можете себе представить.

Я вошла в свою новую тюрьму, где пробыла полгода, ежедневно умоляя, как о милости, разрешить мне поговорить с матерью, увидеться с отцом или написать им. Мне приносили пищу, убирали комнату. По праздникам служанка сопровождала меня к обедне, а потом снова запирала. Я читала, вышивала, плакала, иногда пела, и так проходили дни. Одно лишь тайное чувство поддерживало меня – чувство, что я свободна и что моя судьба, как тяжела она ни была, еще может перемениться. Однако было решено, что я стану монахиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно подтвердили мои подозрения относительно обстоятельств моего рождения: я никогда не могла найти иных причин, чтобы оправдать их. Очевидно, мать боялась, как бы в один прекрасный день я не заговорила о разделе имущества и не потребовала своей доли наследства, как бы вне-

брачная дочь не оказалась на одной доске с законными дочерьми. Однако тому, что было всего лишь догадкой, вскоре предстояло превратиться в уверенность.

Находясь под домашним арестом, я плохо выполняла церковные обряды, но все же в канун больших праздников меня посылали на исповедь. Я уже рассказывала вам, что у меня и у матери был общий духовник. Я поговорила с ним, описала ему всю суровость, с какой обращались со мной в течение последних трех лет. Он знал об этом. С особенной горечью и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял духовный сан и еще не утратил человеколюбия. Он спокойно выслушал меня и сказал:

– Дитя мое, не порицайте свою мать, а лучше пожалейте. У нее добрая душа. Уверяю вас, она поступает так помимо воли.

– Помимо воли! Да кто же может ее принудить? Разве не она произвела меня на свет? И какая же разница между сестрами и мной?

– Большая.

– Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.

Я начала было сравнивать себя с сестрами, но он прервал меня и сказал:

– Довольно, довольно. Ваши родители не страдают пороком бесчеловечности. Постарайтесь терпеливо переносить вашу участь, это поможет вам снискать хотя бы милость господню. Я увижусь с вашей матушкой и, уверяю вас, употреблю все свое влияние на нее, чтобы помочь вам...

Этот ответ «большая» явился для меня лучом света. Теперь я более не сомневалась в том, что догадки по поводу моего рождения были справедливы.

В ближайшую субботу, к концу дня, около половины шестого вечера, приставленная ко мне служанка поднялась ко мне и сказала: «Матушка приказывает вам одеться...» Через час: «Матушка велит вам ехать со мной». У подъезда я увидела экипаж, в который мы и сели – служанка и я. Я узнала, что мы едем в Фельянский монастырь, к отцу Серафиму. Он нас ждал. Он был один. Служанка удалилась, и я вошла в приемную. Я села, с тревогой и любопытством ожидая его слов. Вот что он мне сообщил:

– Мадемуазель, сейчас вы узнаете разгадку сурового обращения с вами ваших родителей. Я получил на это разрешение от вашей матушки. Вы рассудительны, у вас есть ум, твердость, вы сейчас уже в таком возрасте, когда вам можно было доверить тайну даже и в том случае, если бы она не имела к вам прямого отношения. Я давно уже уговаривал вашу матушку открыть вам то, что вы узнаете сегодня, но она никак не могла решиться на это: трудно матери признаться в тяжком грехе своему ребенку. Вам известен ее характер – ей нелегко примириться с униженностью некоторых признаний. Она полагала, что ей и без того удастся осуществить свои намерения касательно вас, но она ошиблась и расстроена этим. Сейчас она решила последовать моему совету и поручила мне сообщить вам, что вы не дочь господина Симонена.

– Я это подозревала, – ответила я быстро.

– Теперь, мадемуазель, подумайте, взвесьте, судите сами, может ли ваша матушка без согласия – или даже с согласия – вашего отца приравнять вас к другим дочерям, в то время как вы вовсе не сестра им; может ли она признаться вашему отцу в проступке, относительно которого у него и без того уже немало подозрений?

– Но кто же мой отец?

– Этого мне не открыли, мадемуазель. Ясно одно – что вашим сестрам даны огромные преимущества перед вами, что приняты все возможные меры предосторожности: брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фидеикомисы² и дру-

² *Фидеикомис (лат.)* – буквально: порученное совести; институт римского права, перешедший в ряд европейских юридических систем Средневековья и нового времени. Согласно воле наследодателя, наследник по закону обязан выдать тре-

гие средства, чтобы свести к нулю причитающуюся вам по закону часть на тот случай, если бы когда-нибудь вы обратились в суд, желая ее получить. Если вы лишитесь родителей, вам достанется очень мало. Вы отказываетесь от монастыря. Быть может, настанет день, когда вы пожалеете, что не находитесь там.

– Этого никогда не будет, сударь; я ничего не требую.

– Вы не знаете, что такое лишения, труд, нищета.

– Зато я знаю цену свободы и гнет монашеского звания, когда к нему нет влечения.

– Я сказал вам все, что должен был сказать. Теперь, мадемуазель, вам надлежит самой хорошенько обдумать это...

Он встал.

– Еще один вопрос, сударь.

– Сколько вам будет угодно.

– Знают ли сестры то, о чем вы мне сообщили?

– Нет, мадемуазель.

– Как же они могли решиться ограбить сестру? Ведь они-то считают меня своей сестрой?

– Ах, мадемуазель, деньги, деньги! Ведь без денег им бы не сделать таких выгодных партий! Каждый думает о себе в этом мире, и я не советую вам рассчитывать на них в случае смерти родителей. Не сомневайтесь, они будут до последнего гроша оспаривать у вас и ту жалкую долю, которую вам придется делить с ними. У них много детей; этого предлога будет вполне достаточно, чтобы довести вас до полной нищеты. К тому же сейчас они бессильны, все дела в руках их мужей. Если бы у ваших сестер и было некоторое чувство сострадания, то помощь, оказанная вам помимо мужей, превратилась бы в источник семейных раздоров. Я знаю немало подобных случаев – случаев, когда покинутым детям, а иногда даже и законным, помогают в ущерб домашнему миру. И, право, мадемуазель, хлеб, полученный таким путем, очень горек. Поверьте же мне – помиритесь с родителями и сделайте то, чего, очевидно, ждет от вас матушка: примите монашество. Вам будет выделена небольшая пенсия, которой вам хватит если не на вполне обеспеченное, то, во всяком случае, на сносное существование. К тому же не скрою от вас, что явное невнимание к вам со стороны вашей матери, ее упорное желание снова запереть вас в монастырь и еще кой-какие обстоятельства – не припомню сейчас, какие именно, в свое время они были мне известны – произвели на вашего отца точно такое же впечатление, как и на вас: если прежде у него были сомнения относительно вашего рождения, то сейчас у него их нет, и, даже не будучи посвященным в тайну, он не сомневается в том, что вы являетесь его дочерью лишь постольку, поскольку закон считает вашим отцом лицо, являющееся законным супругом вашей матери. Вы добры и благоразумны, мадемуазель. Обдумайте же то, что вы только что узнали.

Я встала и залилась слезами. Видимо, и сам отец Серафим был растроган. Он кротко возвел глаза к небу и затем проводил меня. Я подозвала приехавшую со мной служанку, мы снова сели в экипаж и вернулись домой.

Был уже поздний час. Ночью я думала о том, что мне открыли, думала об этом и весь следующий день. Итак, у меня не было отца. Упреки совести отняли у меня и мать. Были приняты все предосторожности, чтобы я не могла претендовать на права законнорожденной; мне предстоял домашний плен, весьма и весьма суровый; никакой надежды, никакого выхода. Быть может, если бы со мной объяснились раньше, сразу же после замужества сестер, и оставили меня дома, где продолжали бывать знакомые, нашелся бы человек, которому мой характер, ум, внешность, мои способности показались бы достаточным приданым. Такая возможность не была упущена и сейчас, но моя выходка в монастыре сильно ослож-

няла дело: трудно представить себе, чтобы девушка семнадцати-восемнадцати лет могла пойти на такую крайность без исключительной силы воли. Мужчины очень хвалят это качество, но, как мне кажется, охотно мирятся с отсутствием его у тех, на ком они предполагают жениться. И все же надо было испробовать этот выход, прежде чем искать другой. Я решилась откровенно поговорить с матерью и попросила у нее свидания, на которое и получила согласие.

Это было зимой. Мать сидела в кресле перед камином. Лицо ее было сурово, взгляд неподвижен, она словно окаменела. Я подошла к ней, бросилась к ее ногам и попросила простить мне все мои вины.

– Я прощу вас, если увижу, что вы заслуживаете прощения, – ответила она. – Встаньте. Мужа нет дома, и вам вполне хватит времени, чтобы высказаться. Вы видели отца Серафима и знаете наконец, кто вы и чего можете от меня ждать. Надеюсь, что вы не собираетесь всю жизнь карать меня за мой проступок, который я и так уж достаточно искупила. Итак, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили?

– Матушка, – ответила я, – я знаю, что у меня ничего нет и что я не должна ни на что претендовать. Я вовсе не хочу увеличивать ваши мучения, какого бы рода они ни были. Быть может, вы нашли бы меня более покорной вашей воле, если бы раньше познакомили меня с некоторыми обстоятельствами, о которых мне трудно было догадаться, но теперь я знаю их, знаю, кто я, и мне остается лишь вести себя в соответствии с моим положением. Меня больше не удивляет разница в вашем отношении ко мне и к моим сестрам. Я признаю, что это справедливо, и подчиняюсь, но ведь все-таки я ваша дочь, вы носили меня в своем чреве и, надеюсь, никогда не забудете об этом.

– Пусть бог меня накажет, – с живостью воскликнула она, – если я не признавала вас своей дочерью, насколько это было в моей власти!

– Верните же мне свое расположение, матушка, – сказала я ей, – позвольте мне снова быть с вами, верните мне любовь того, кто считает себя моим отцом.

– Еще немного, – ответила она, – и он приобретет такую же уверенность относительно вашего рождения, как вы и я. Когда он осыпает вас упреками в моем присутствии – а это случается беспрестанно, – эти упреки, эта суровость по отношению к вам направлены против меня. Не ждите же от него нежных отцовских чувств... И кроме того, – сказать ли вам всю правду? – вы напоминаете мне такую гнусную измену, такую неблагодарность со стороны другого человека, что мысль об этом для меня невыносима. Он все время стоит между вами и мною, он ненавистен мне, и эта ненависть распространяется на вас.

– Как? – вскричала я. – Неужели я не могу надеяться, что вы и господин Симонен будете обращаться со мной хотя бы как с чужой, посторонней девушкой, которую вы приютили из милосердия?

– Мы оба не способны на это. Дочь моя, перестаньте отравлять мне жизнь. Не будь у вас сестер, я знала бы, как поступить, но у вас их две, и у обеих большие семьи. Поддерживавшая меня страсть давно угасла, и совесть вновь вступила в свои права.

– Однако тот, кому я обязана жизнью...

– Его нет больше. Он умер, не вспомнив о вас, и это еще наименьшее из его злодеяний...

Тут лицо ее исказилось, глаза засверкали негодованием, она хотела продолжать, но не могла произнести ни слова – так дрожали ее губы. Не вставая со стула, она закрыла лицо руками, чтобы скрыть от меня клокотавшие в ней чувства. Несколько минут она сидела в такой позе, потом встала и молча зашагала по комнате. Наконец, с трудом удерживаясь от слез, сказала:

– Он – чудовище! Если вы не задохнулись в моем чреве от тех мук, которые он причинил мне, тут нет его заслуги; но бог сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда не будет. То немногое, что я могу для вас сделать, я

делаю тайком от ваших сестер. Таковы последствия слабости. Однако я надеюсь, что мне не в чем будет себя упрекнуть, когда я буду умирать. С помощью строгой экономии я скоплю для вас вклад в монастырь. Я несколько не злоупотребляю снисходительностью мужа, а просто изо дня в день откладываю, что могу, из щедрых подарков, которые он мне делает время от времени. Я продала свои драгоценности, и он разрешил мне располагать вырученной суммой по моему усмотрению. Я любила играть в карты – и не играю больше. Я любила театр – и лишила себя этого развлечения. Я любила общество – и живу затворницей. Я любила роскошь – и отказалась от нее. Если вы примете монашество, как того желаем мы с господином Симоненом, – ваш вклад будет плодом моих каждодневных лишений.

– Но, матушка, ведь у вас в доме еще бывают состоятельные люди. Быть может, найдется человек, которому я понравлюсь настолько, что он даже не потребует сбережений, предназначенных вами для моего устройства.

– Теперь об этом нечего и думать, ваша выходка вас погубила.

– Неужели беда непоправима?

– Непоправима.

– Но если я и не найду супруга, неужели так необходимо, чтобы я заперлась в монастыре?

– Необходимо, если только вы не захотите продлить мои муки и угрызения совести до той минуты, когда я закрою глаза навек, – а она неотвратима. В этот страшный миг ваши сестры будут у моей постели. Судите сами, смогу ли я видеть вас рядом с ними! Поймите, как мучительно будет для меня ваше присутствие в эти последние мгновения! Дочь моя, – ибо вы все же моя дочь, хотя и помимо моей воли, – ваши сестры законным путем получили имя, которое вам дано моим преступлением; не огорчайте же свою мать, она ведь скоро угаснет. Дайте ей спокойно сойти в могилу, и тогда, готовясь предстать перед великим судьей, она сможет сказать себе, что загладила свою вину, насколько это было в ее силах, сможет надеяться, что вы не внесете раздоров в дом после ее смерти и не будете отстаивать права, которых не имеете.

– Матушка, – сказала я, – будьте спокойны на этот счет. Пригласите стряпчего. Пусть он составит акт об отказе от наследства, и я подпишу все, что вам будет угодно.

– Это невозможно: дети не могут сами лишать себя наследства. Такое наказание может исходить лишь от родителей, имеющих веское основание для своего гнева. Если бы богу угодно было призвать меня к себе завтра, мне пришлось бы завтра же пойти на эту крайнюю меру и открыться мужу, чтобы действовать сообща с ним. Не вынуждайте меня на эту откровенность: он возненавидит меня за нее, а вам она не принесет ничего, кроме позора. Если вы переживете меня, то останетесь без имени, без средств, без положения. Несчастная! Скажите мне, что с вами будет? Какие мысли должна я унести с собой в могилу? Итак, мне придется сказать мужу... сказать, что... что вы не его дитя... О дочь моя, если бы довольно было броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас... но нет, вы бесчувственны, у вас каменное сердце – сердце вашего отца.

В эту минуту появился г-н Симонен. Он увидел волнение своей жены; он любил ее; он был вспыльчив. Он остановился на пороге и, бросив на меня грозный взгляд, сказал мне:

– Уйдите!

Будь он моим отцом, я бы не послушалась его, но он им не был.

Обращаясь к слуге, который держал свечу, г-н Симонен добавил:

– Скажите ей, чтобы она больше не появлялась здесь.

Снова я оказалась запертой в моей маленькой темнице. Я начала обдумывать то, что мне сказала мать. Упав на колени, я просила бога вразумить меня. Долго молилась я, прикинув лицом к полу. Обыкновенно мы вопрошаем небо лишь в тех случаях, когда не знаем сами, на что решиться, и редко бывает, чтобы голос свыше не посоветовал нам уступить.

Именно такое решение и было принято мною. «Они хотят, чтобы я стала монахиней. Быть может, такова и божья воля. Хорошо, я стану монахиней! Если непременно нужно, чтобы я была несчастна, то не все ли равно, где это будет?..» Я попросила служанку сообщить мне, когда отца не будет дома. На следующий же день я стала просить мать дать мне возможность переговорить с нею. Она велела передать мне, что обещала г-ну Симонену не делать этого, но что я могу написать ей, и прислала мне карандаш. Итак, я написала на клочке бумаги (впоследствии этот роковой листок был найден и использован против меня как нельзя лучше): «Матушка! Я очень сожалею, что причинила вам столько огорчений. Простите меня за них, я намерена положить им конец. Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. Если ваша воля – видеть меня монахиней, то да будет это и божьей волей...»

Служанка взяла это послание и отнесла матери. Минуту спустя она вернулась и с восторгом вскричала:

– Ах, мадемуазель, зачем же вы тянули так долго, когда одного вашего слова довольно было, чтобы осчастливить ваших родителей и вас самих. У вашего батюшки, у вашей матушки такие лица, каких я ни разу не видала у них, с тех пор как живу в доме. Они постоянно ссорились из-за вас. Благодарение богу, больше мне этого не придется видеть...

Я слушала ее, а сама думала о том, что только что подписала свой смертный приговор. И это предчувствие оправдается, если вы, сударь, не поможете мне.

Несколько дней прошло без всяких новостей. Но вот как-то утром, часов около девяти, дверь с шумом распахнулась, и вошел г-н Симонен в халате и ночном колпаке. С тех пор как я узнала, что он мне не отец, его присутствие внушало мне только страх. Я встала и присела перед ним. Мне казалось, что у меня два сердца. О матери я не могла думать без сострадания и без слез. Не то было по отношению к г-ну Симонену. Несомненно, что отец внушает нам такое чувство, какого не испытываешь ни к кому в мире. Его не сознаешь, пока не окажешься, подобно мне, лицом к лицу с человеком, который долго носил и только что утратил это священное имя. Другим никогда не понять этого чувства. Если бы в ту минуту вместо г-на Симонена передо мной была моя мать, мне кажется, я была бы совершенно иной.

– Сюзанна, – обратился он ко мне, – узнаете вы эту записку?

– Да, сударь.

– По доброй ли воле вы написали ее?

– Мне приходится ответить: да.

– И вы намерены выполнить то, что в ней написано?

– Да, намерена.

– Вы предпочитаете какой-нибудь определенный монастырь?

– Нет, все монастыри для меня одинаковы.

– Хорошо.

Вот что я ответила; но, к несчастью, мои слова не были записаны. В течение двух недель я оставалась в полном неведении относительно того, что творилось вокруг меня. Кажется, за это время родители обращались в разные монастыри, но вследствие огласки, которую получил мой поступок в первом монастыре, меня нигде не хотели принимать.



В Лоншане оказались менее требовательны: должно быть, туда дошел слух о том, что я хорошая музыкантша и что у меня есть голос. Родители сильно преувеличили передо мной затруднения, которые им пришлось преодолеть, и милость, которую оказал мне этот мона-

стырь, принимая меня. Они даже заставили меня написать настоятельнице. Я не предвидела тогда последствий этой письменной улики. По-видимому, они потребовали ее от меня, опасаясь, как бы в будущем я не пожелала расторгнуть мой обет, и хотели иметь документ, где бы моей собственной рукой было засвидетельствовано, что я даю его добровольно. Не будь этой причины, каким образом письмо, адресованное настоятельнице, могло впоследствии попасть в руки моих зятьев? Но лучше поскорее закрыть глаза на это, иначе г-н Симонен предстанет предо мной таким, каким я не хочу его видеть: его уже нет в живых.

Меня отвезли в Лоншан. Мать проводила меня туда. Я не стала просить позволения проститься с г-ном Симоненом; сказать правду, я вспомнила о нем только дорогой. В монастыре меня ждали. Сюда уже дошел слух и о моей истории, и о моих талантах. Никто ничего не сказал мне о первой, зато все поторопилось убедиться, стоило ли приобретение тех трудов, какие были на него затрачены. После длинной беседы о безразличных вещах, – ибо, разумеется, после того, что со мной произошло, мне не стали говорить о боге, о призвании, об опасностях мирской жизни или о сладости жизни монастырской, передо мной не отважились произнести ни слова из того благочестивого вздора, каким обычно заполняются первые минуты, – итак, после длинной беседы о посторонних вещах настоятельница сказала мне: «Мадемуазель, вы играете, поете. У нас есть клавесин. Не хотите ли перейти в приемную?» На душе у меня было тяжело, но не время было выказывать свое нежелание. Мать прошла вперед, я последовала за ней; настоятельница с несколькими монахинями, привлеченными любопытством, замыкала шествие. Это было вечером; принесли свечи, я села за клавесин. Я долго наигрывала, перебирая в памяти множество музыкальных отрывков и не находя ничего подходящего. Между тем настоятельница торопила меня, и я запела, без всякого умысла, по привычке, одну арию, которая была хорошо мне знакома: «Печальные сборы, бледные факелы, день ужаснее ночи» и т.д. Не знаю, какое это произвело впечатление, но я пела недолго: меня прервали похвалами, и я была очень удивлена, что заслужила их так быстро и так легко. Мать поручила меня заботам настоятельницы, дала мне поцеловать руку и уехала.

И вот я в другом монастыре в качестве испытуемой, и притом проходящей испытание по доброй воле. Но вы, сударь, вы ведь знаете все, что произошло вплоть до настоящей минуты, – каково же ваше мнение обо всем этом? Большая часть этих фактов совсем не была упомянута, когда я хотела расторгнуть свой обет: одни – потому, что их нельзя было подкрепить доказательствами, другие – оттого, что они вызвали бы ко мне отвращение, не принеся при этом никакой пользы. Люди увидели бы во мне лишь жестокосердную дочь, которая, чтобы добиться свободы, бесчестит память своих родителей. Налицо были улики *против* меня, фактов же, говоривших *в мою пользу*, нельзя было ни привести, ни доказать. Я вовсе не хотела, чтобы у судей возникли подозрения относительно обстоятельств моего рождения. Некоторые лица, совершенно непричастные к закону, советовали мне привлечь к делу духовника моей матери, который был прежде и моим духовником. Этого нельзя было сделать, и даже будь это возможно, я бы этого не допустила. Кстати, чтобы не забыть сказать вам, сударь, и чтобы вы, руководясь желанием помочь мне, не упустили этого из виду: я думаю – если только вы не подадите мне лучшего совета, – что надо молчать о том, что я пою и играю на клавесине; одного этого было бы вполне достаточно, чтобы открыть мое местопребывание. Кичиться этими талантами – значит, потерять безвестность и безопасность, которых я ищу. Девушки, находящиеся в моем положении, не умеют играть и петь, – значит, и я не должна выставлять напоказ это умение. Если мне придется покинуть родину, вот тогда я сделаю это источником своего существования. Покинуть родину? Скажите, почему эта мысль так пугает меня? Потому, что я не знаю, куда ехать. Потому, что я молода и неопытна.

Потому, что я боюсь нищеты, людей и порока. Потому, что я всегда жила взаперти и вне Парижа считала бы себя затерянной в мире. Быть может, все это и не так, но это то, что я чувствую. Сударь, я не знаю, куда ехать, не знаю, кем стать; это зависит от вас.

В Лоншане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые три года. Когда меня привезли сюда, эту должность только что заняла некая г-жа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности: все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которых ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно. Я говорю беспристрастно, так как неукоснительно выполняла свои обязанности, и она отдала бы мне только должное, подтвердив, что я не совершила ни одного проступка, который заслуживал бы наказания или прощения. Если она оказывала кому-нибудь предпочтение, то оно было вполне заслуженным. Не знаю, удобно ли будет после этого сказать вам, что она нежно полюбила меня и что я заняла не последнее место среди ее фавориток. Я знаю, что это большая похвала мне, и похвала эта значит гораздо больше, чем вы можете себе представить, не будучи с ней знакомым. Фаворитками остальные монахини называют из зависти любимиц настоятельницы. У г-жи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек: дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру, – быстро узнавать человеческую душу. Редко случалось, чтобы монахиня, не понравившаяся ей с самого начала, понравилась бы ей когда-нибудь впоследствии. Меня она полюбила сразу, и я сейчас же почувствовала к ней полное доверие. Горе тем монахиням, к которым она не была расположена. Они неминуемо оказывались злыми, ничтожными женщинами и сами сознавали это. Она первая заговорила о том, что произошло со мной в монастыре Св. Марии. Я откровенно рассказала ей все, как говорю вам, поделилась всем, о чем только что написала вам: ни обстоятельства моего рождения, ни мои горести – ничто не было забыто. Она сочувствовала мне, утешала, внушала надежду на лучшее будущее.

Между тем срок моего испытания истек, пришло время стать послушницей – и я надела покрывало. Свое послушничество я отбывала без особого отвращения. Эти два года я описываю бегло, потому что в них не было для меня ничего печального, если не считать тайного чувства, говорившего мне, что шаг за шагом я приближаюсь к принятию звания, для которого вовсе не создана. Время от времени это чувство вспыхивало во мне с особенной силой, но я тотчас же прибегала к моей доброй настоятельнице, и она обнимала меня, просветляла мою душу, приводила разумные доводы, а под конец всегда говорила: «А разве другие звания лишены шипов? Ведь каждый ощущает только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колена и помолимся...»

Тут она простиралась ниц и молилась вслух с таким умилением, с таким красноречием, кротостью, одушевлением и жаром, словно ее вдохновлял сам дух божий. Ее мысли, выражения, образы проникали вам в самое сердце. Сначала вы просто слушали ее, затем, постепенно увлекаясь, сливались с ней, душа замирала, и вы разделяли ее порыв. У нее вовсе не было намерения пленять вас, но, несомненно, происходило именно это; вы уходили от нее с пылающим сердцем, радостное восхищение отражалось на вашем лице, и что за сладостные слезы вы проливали! Такое же чувство испытывала и она сама; оно долго жило в ней, и вы сберегали его в своем сердце. Не я одна испытала это; это испытали все монахини. Некоторые говорили мне, что понемногу такое утешение сделалось для них величайшим

наслаждением, что оно превратилось для них в потребность, и, пожалуй, мне не доставало лишь более длительной привычки, чтобы почувствовать то же, что они.

Однако с приближением дня пострига меня стала охватывать такая глубокая тоска, что моя добрая настоятельница не знала, что делать. Дар утешения покинул ее, она сама мне в этом призналась. «Не знаю, что со мной происходит, – сказала она. – Когда вы приходите, мне кажется, что бог удаляется от меня и глас его умолкает. Тщетно я воспаляю себя и ищу мыслей, тщетно стараюсь возбудить свою душу: я чувствую себя обыкновенной, ограниченной женщиной, я боюсь говорить...» – «Ах, матушка! – отвечала я ей. – Какое ужасное предзнаменование! Что, если это сам бог приказывает вам молчать?...»

Как-то раз, чувствуя себя более неуверенной и подавленной, чем когда бы то ни было, я вошла в ее келью. Сначала мое появление смутило ее: должно быть, в моих глазах, во всем моем существе она прочитала, что глубокое чувство, которое я носила в себе, было ей не по силам, и не хотела бороться, не будучи уверенной в победе. Тем не менее она начала убеждать меня и мало-помалу воспалилась. По мере того как моя скорбь затихала, ее пыл возрастал; внезапно она упала на колени, я сделала то же. Мне показалось, что я готова разделить ее порыв, я этого хотела. Она произнесла несколько слов, потом вдруг умолкла. Напрасно я ждала: она ничего больше не сказала, встала и залилась слезами. Взяв меня за руку, она прижала меня к себе. «Милое дитя, – сказала она, – какое ужасное действие оказали вы на меня! Конечно, святой дух удалился, я чувствую это. Идите, и пусть бог говорит с вами сам: ему не угодно изъявить свою волю моими устами...»

И в самом деле, с ней произошло что-то непонятное. Внушила ли я ей неверие в ее силы, которое так и не рассеялось больше, вселила ли в ее душу робость или действительно прервала ее общение с небом, – но дар утешения так к ней и не вернулся. Накануне дня пострига я пошла повидаться с нею; она была так же печальна, как я. Я заплакала, она тоже. Я упала к ее ногам, она благословила меня, подняла, поцеловала и отослала со словами: «Я устала жить, мне хочется умереть. Я просила бога, чтобы он не дал мне увидеть этот день, но на то нет его воли. Идите, я поговорю с вашей матерью, я проведу ночь в молитве; помолитесь и вы, но потом ложитесь в постель, приказываю вам это».

– Позвольте мне помолиться вместе с вами, – попросила я.

– Вы можете пребыть со мной с девяти до одиннадцати часов, не дольше. Я стану на молитву в половине десятого, вы сделаете то же, но в одиннадцать часов вы оставите меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать. Идите, милое дитя, я буду бодрствовать перед господом остаток ночи.

Она хотела молиться, но не могла. В то время как я спала, эта святая женщина прошла по коридорам и, стучась в каждую дверь, стала будить монахинь, предлагая им бесшумно спуститься в церковь. Когда все монахини собрались там, она призвала их обратиться к небу с молитвой за меня. Сначала молились молча, потом настоятельница погасила свечи, и все вместе прочитали «*Miserere*» – все, кроме настоятельницы, которая распростерлась у подножия алтаря и, жестоко истязая себя, повторяла: «О господи! Если ты покинул меня за какую-нибудь совершенную мной вину, то даруй мне прощение. Я не прошу тебя вернуть отнятый у меня дар, но обратись сам к этой невинной, которая спит, в то время как я взываю здесь к тебе, моля о ней. Господи, наставь ее, наставь ее родителей и прости меня».

На следующий день рано утром она вошла в мою келью. Я не слышала ее шагов, я еще не проснулась. Сев на край моей постели, она осторожно положила руку мне на лоб и посмотрела на меня: беспокойство, смятение и скорбь сменялись на ее лице, и такую я увидела ее, открыв глаза. Она ничего не сказала мне о том, что произошло ночью, только спросила, рано ли я легла. Я ответила:

– Когда вы мне приказали.

– Спали ли вы?

– Крепко спала.

– Так я и думала... Как вы чувствуете себя?

– Прекрасно. А вы, матушка?

– Увы! Я никогда не была спокойна перед постригом любой из послушниц, но ни за одну из них я не тревожилась так, как за вас. Как бы мне хотелось, чтобы вы были счастливы!

– Если вы всегда будете любить меня, то я буду счастлива.

– Ах, если бы все дело было только в этом! Вы ни о чем не думали ночью?

– Нет.

– Ничего не видели во сне?

– Нет.

– Что происходит сейчас в вашей душе?

– Я отупела. Я повинуюсь своей участи без отвращения и без охоты. Я чувствую, что необходимость увлекает меня, и отдаюсь течению. Ах, матушка, я вовсе не ощущаю той тихой радости, того трепета, той грусти, того сладостного смятения, какое иногда замечала у других в подобные минуты. Я ничего не понимаю, я не могу даже плакать. Этого хотят, так надо – вот единственная мысль, которая приходит мне в голову... Но вы молчите?..

– Я пришла не для того, чтобы разговаривать с вами, а для того, чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу матушку. Постарайтесь не волновать меня. Пусть чувства накопятся в моей душе. Когда она будет полна, я покину вас. Мне надо помолчать: я знаю свое сердце – это вулкан, который извергается только раз, но извергается с силой, и не на вас должна обрушиться его лава. Полежите еще немного, я буду смотреть на вас. Скажите мне несколько слов и дайте получить здесь то, за чем я пришла. Я уйду, и бог довершит остальное...

Я умолкла и, откинувшись на подушку, протянула ей руку. Она сжала ее в своей. Видимо, она размышляла, и размышляла глубоко. Она силилась держать глаза закрытыми, но время от времени открывала их, возводила к небу и снова переводила взгляд на меня. Она начала волноваться. В ее смятенной душе то бурлили, то утихали страсти. Поистине, эта женщина была рождена, чтобы стать прорицательницей: об этом говорили ее внешность и характер. Когда-то она была прекрасна, но годы, сделав дряблой и морщинистой ее кожу, лишь придали ее лицу еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие, но, казалось, они всегда смотрят либо в глубь ее души, либо, проникая сквозь окружающие предметы, различают где-то там, вдали, прошлое или будущее. Время от времени она с силой сжимала мне руку. Внезапно она спросила, который час.

– Скоро шесть.

– Прощайте, я ухожу. Сейчас придут облачать вас, я не хочу быть при этом, это отвлечет меня от моих мыслей. У меня сейчас одна забота – сохранить сдержанность в первые минуты.

Не успела она выйти, как вошли наставница послушниц и мои товарки. Они сняли с меня монашескую одежду и надели мирскую: вы, наверно, знаете этот обычай. Я не слышала, о чем говорили вокруг меня, я превратилась в автомат. Я не замечала ничего окружающего и только по временам судорожно вздрагивала. Мне говорили, что я должна делать, и я это делала, причем нередко приходилось по несколько раз повторять мне одно и то же, ибо с первого раза я не понимала. Нельзя сказать, что я думала о другом, – нет, просто я была слишком поглощена тем, что творилось в моей душе. В голове я ощущала сильную тяжесть, словно от избытка размышлений. Тем временем настоятельница беседовала с моей матерью. Я так никогда и не узнала впоследствии, что произошло при этом свидании, длившемся очень долго. Мне только сказали, что, уходя, моя мать была так взволнована, что не могла найти дверь, а настоятельница вышла, сжимая голову руками.

Но вот зазвонили в колокола, и я спустилась в церковь. Собрание было малочисленно. Не знаю, хорошо или плохо было напутственное слово, с которым ко мне обратились, – я не

слыхала его. Со мной делали все, что хотели, в продолжение всего этого утра, совершенно выпавшего из моей жизни. Не знаю, сколько времени оно длилось, не знаю, что я делала, что говорила. Должно быть, мне задавали вопросы, и, должно быть, я отвечала; я произнесла обет, но ничего не помню об этом и сделалась монахиней так же бессознательно, как сделалась когда-то христианкой. Во всем обряде пострига я поняла не больше, чем в обряде крещения, и, по-моему, разница между ними единственно в том, что один дарует благодать, а другой только обещает ее. Правда, я не высказала протеста в Лоншане, как сделала это в монастыре Св. Марии, но скажите мне, сударь, разве вы считаете, что теперь я более связана, нежели тогда? Отдаю себя на ваш суд. Отдаю себя на суд божий. Я была в такой глубокой прострации, что, когда несколько дней спустя мне заявили, что я участвую в хоре, я не поняла, что это значит. Я спросила – правда ли, что я постриглась; попросила показать мне подпись, поставленную под данным мною обетом. Окружающие были вынуждены присоединить к этим доказательствам свидетельство всей общины и нескольких посторонних лиц, присутствовавших на церемонии. Я много раз обращалась к настоятельнице с вопросом: «Неужели это правда?» – и все время ждала, что она ответит мне: «Нет, дитя мое, вас обманывают...» Ее неоднократные подтверждения не убеждали меня, я не могла постичь, как это, проведя целый день, столь бурный, столь богатый необычайными и разнообразными событиями, я не помню ни одного из них, не помню лиц женщин, прислуживавших мне, лица священника, произносившего напутственное слово, лица человека, который принимал мой обет. С меня сняли монашескую одежду и надели мирскую – вот единственное, что я припоминаю. Начиная с этой минуты я была буквально невменяема. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я вышла из такого состояния, и именно длительности этого периода выздоровления, если его можно назвать так, я приписываю глубокое забвение всего происшедшего: так бывает с людьми, которые перенесли долгую болезнь; они как будто бы рассуждали вполне здраво, приобщились святых тайн, а выздоровев, не сохранили ни о чем ни малейшего воспоминания. Мне пришлось видеть в монастыре подобные примеры, и я сказала самой себе: «Должно быть, именно это случилось со мной в день моего пострига». Однако остается узнать – исходят ли эти действия от человека и участвует ли он в них, хотя и кажется, что это так?

В том же году я понесла три значительные утраты: умер мой отец, или, вернее, тот, кто считался им, – он был немолод, много работал; умерла настоятельница, и затем умерла моя мать.

Достойная монахиня задолго почувствовала приближение смертного часа. Она наложила на себя обет молчания и приказала принести в свою спальню гроб; она утратила сон и проводила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли: после нее осталось пятнадцать «Размышлений», которые представляются мне образцом душевной красоты. У меня сохранился список. Если когда-нибудь вам захочется ознакомиться с мыслями, внушенными предсмертным часом, я перешлю их вам. Они озаглавлены: «Последние минуты сестры де Мони».

Перед смертью, лежа в постели, она велела одеть себя. Ее причастили и соборовали. В руках она держала распятие. Это было ночью, свет больших восковых свечей озарял мрачное зрелище. Мы со слезами окружили ее, келья огласилась рыданиями. Вдруг глаза умирающей засветились, и, внезапно приподнявшись, она заговорила. Голос ее звучал почти так же громко, как прежде, когда она была здорова. Утраченный дар вновь вернулся к ней. Она упрекнула нас за слезы, которые мы проливали, как бы завидуя ожидавшему ее вечному блаженству. «Дети мои, – сказала она, – ваша скорбь вводит вас в заблуждение. Вот там, там, – она указала на небо, – буду я служить вам. Глаза мои будут неустанно устремлены на эту обитель, я буду молиться за вас, и мои молитвы будут услышаны. Подойдите же все, чтобы я могла обнять вас, примите мое благословение и мой прощальный привет...» Вот последние

слова, которые произнесла перед кончиной эта удивительная женщина, оставившая по себе бесконечную скорбь и сожаления.

Моя мать умерла в конце осени, вскоре после поездки к одной из дочерей. У нее было много горя, здоровье ее было сильно расшатано. Я так и не узнала от нее ни имени моего отца, ни истории моего рождения. Наш общий духовник передал мне по ее поручению небольшой сверток, зашитый в кусок полотна. В нем были пятьдесят луидоров и записка. Вот что я прочла в ней:

«Дитя мое, здесь очень немного, но совесть не позволяет мне располагать большей суммой; это остаток того, что мне удалось скопить благодаря скромным подаркам господина Симонена. Живите праведно, это вернее всего может дать вам счастье – даже и в этом мире. Молитесь за меня. Ваше рождение – это единственный большой грех, совершенный мною; помогите же мне искупить его, и пусть за те добрые дела, которые совершите вы, господь простит мне то, что я произвела вас на свет. Главное – не нарушайте покоя семьи, и хотя образ жизни, который вы ведете, принят вами не столь добровольно, как я этого желала, бойтесь изменить его. Зачем я сама не была заперта в монастыре всю мою жизнь! Мысль о том, что через минуту я должна буду предстать пред грозным судьей, не так пугала бы меня. Дитя мое, помните, что участь вашей матери в мире ином во многом зависит от вашего поведения в этом мире: всевидящий бог в своем правосудии зачтет мне все добро и все зло, которые вы совершите. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от ваших сестер: они не в состоянии помочь вам. Ни на что не надейтесь со стороны отца; он опередил меня, его уже озарил великий свет, он меня ждет, и мое присутствие будет для него менее страшно, нежели встреча с ним – для меня. Еще раз прощайте. О несчастная мать! О несчастная дочь! Приехали ваши сестры, и я недовольна ими: они всё хватают, всё тащат; на глазах у умирающей матери они заводят ссоры из-за денег – это меня удручает. Когда они подходят к моей постели, я отворачиваюсь: я не хочу видеть эти два создания, в которых бедность вытравивала все естественные чувства. Они жаждут завладеть тем немногим, что я оставляю; они задают врачу и сиделке неприличные вопросы, показывающие, с каким нетерпением они ждут минуты, когда меня не будет и они станут хозяевами всего, что меня окружает. Не знаю, каким образом, но у них возникло подозрение, что у меня под матрацем спрятаны какие-то деньги. Они делали все возможное, чтобы заставить меня подняться, но, к счастью, сегодня пришел мой доверенный, и вот я вручаю ему этот сверток вместе с письмом, которое он пишет сейчас под мою диктовку. Сожгите письмо, и когда узнаете, что меня уже нет в живых – а это будет скоро, – отслужите обедню за упокой моей души и повторите ваш обет: ибо я по-прежнему желаю, чтобы вы оставались монахиней. Мысль о том, что вы можете очутиться в миру, без помощи, без поддержки, такая молодая, окончательно нарушила бы покой моих последних минут».

Отец мой умер 5 января, настоятельница – в конце того же месяца, а мать – на следующее Рождество.

Место матушки де Мони заступила сестра Христина. Ах, сударь, какая разница между ними! Я уже говорила вам, что за женщина была первая. Вторая была мелочна, ограничена, суеверна. Она увлекалась новыми религиозными течениями, совещалась с сульпицианцами³ и иезуитами. Она возненавидела всех любимиц своей предшественницы, и монастырь сразу наполнился раздорами, враждою, злословием, доносами, клеветой и гонениями. Нас заставили заниматься вопросами богословия, в которых мы ровно ничего не смыслили, признавать религиозные формулы, участвовать в нелепых обрядах. Сестра де Мони никогда не одобряла способов покаяния, изнуряющих плоть. К себе она применила их лишь дважды в жизни: первый раз – накануне моего пострига и второй – при других сходных обстоятель-

³ Сульпицианцы – католический монашеский орден, учрежденный в XVII в., который основывал духовные учебные заведения и руководил ими.

ствах. Она говорила, что эти способы покаяния не исправляют от каких-либо недостатков, а лишь порождают гордыню. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух. Вступив в должность, она прежде всего отняла у сестер все власяницы и плети, запретив и впредь держать их у себя, а также запретила при­мешивать к пище золу и спать на голых досках. Сестра Христина, напротив, вернула каждой монахине ее власяницу и плеть и отняла у всех Ветхий и Новый Заветы. Фаворитки преж­ней королевы никогда не бывают в милости у ее преемницы. Я была безразлична, если не сказать больше, новой настоятельнице по той причине, что меня нежно любила ее предше­ственница, и я не замедлила ухудшить свою участь поступками, которые вы припишете либо безрассудству, либо стойкости, в зависимости от точки зрения, с какой вы посмотрите на них.

Во-первых, я открыто предалась скорби, которую вызвала во мне смерть сестры де Мони, при каждом удобном случае восхваляла ее и проводила сравнение между нею и новой настоятельницей – сравнение, которое всегда было не в пользу сестры Христины. Я рисо­вала картины жизни монастыря в прежние годы, напоминала о мире, каким мы тогда насла­ждались, о снисходительности, какую нам выказывала сестра де Мони, о пище – как духов­ной, так и телесной, – которую нам предоставляли, и восторгалась добродетелью, чувствами и характером прежней настоятельницы. Во-вторых, я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, побуждая к тому же и своих товарок, причем некоторые из них последовали моему примеру. В-третьих, раздобыла себе Ветхий и Новый Заветы. В-четвертых, отвергла всякое сектанство, называя себя христианкой и отказываясь принять имя янсенистки или моли­нистки⁴. В-пятых, строго замкнулась в рамках монастырского устава, не отступая от него ни в ту, ни в другую сторону и, следовательно, не выполняя никаких дополнительных повин­ностей, ибо и обязательные казались мне чрезмерно трудными: я соглашалась сесть за орган только в праздник, пела только в хоре, не разрешала злоупотреблять моей услужливостью и музыкальными талантами и выставлять меня напоказ чуть ли не ежедневно. Я прочла и перечла монастырский устав, я выучила его наизусть. Если мне приказывали сделать что­нибудь такое, что было не совсем ясно выражено в уставе, или вовсе в нем отсутствовало, или же казалось мне противоречащим ему, я решительно отказывалась выполнить приказа­ние. Я показывала книгу и говорила: «Вот обязательства, принятые мною. Никаких других я на себя не брала».

Мои речи увлекли кое-кого из товарок. Власть старших оказалась сильно ограничен­ной, они не могли больше распоряжаться нами как рабынями. Не проходило почти ни одного дня без какой-нибудь бурной сцены. Во всех сомнительных случаях товарки советовались со мной, и всегда я вставала на защиту устава и против деспотизма. Вскоре я приобрела репута­цию бунтовщицы, и, пожалуй, в какой-то степени я действительно играла эту роль. То и дело в монастырь приглашались старшие викарии архиепископа, и меня вызывали на суд, где я защищала себя и своих товарок, причем ни разу не случилось, чтобы меня признали винов­ной, ибо доводы разума всегда оказывались на моей стороне. Невозможно было обвинить меня и в нарушении моих обязанностей, так как я выполняла их самым тщательным образом. Что до небольших поблажек, которые всецело зависят от настоятельницы, то я никогда и не просила о них. Я никогда не появлялась в приемной; не имея никаких знакомств, я никогда не принимала гостей. Но я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, я посоветовала и другим сделать то же, я не хотела слушать разговоров ни об янсенизме, ни о молинизме, независимо от того, хвалили эти теории или осуждали. Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я говорила, что подчиняюсь церкви; на вопрос, признаю ли я папскую буллу⁵, я отвечала, что

⁴ ...принять имя янсенистки или молинистки. – Янсенисты и молинисты – антагонистические течения во французском католицизме XVII—XVIII вв.

⁵ ...признаю ли я папскую буллу... – Имеется в виду пресловутая булла папы Климента XI «Unigenitus» (1713), изданная по требованию ордена иезуитов. Булла, поддержанная Людовиком XIV, который считал янсенистов своими личными врагами,

признаю Евангелие. Как-то раз обыскали мою келью и нашли там Ветхий и Новый Заветы. Мне случалось вести неосторожные беседы по поводу подозрительной близости нескольких фавориток между собой. Настоятельница имела долгие и частые свидания с глазу на глаз с одним молодым священником, и я раскрыла и причину их, и предлог. Словом, я делала все, чтобы вызвать к себе страх и ненависть, чтобы погубить себя, и в конце концов добилась своего. На меня больше не жаловались церковным властям, а просто решили сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням запретили общаться со мной, и вскоре я осталась одна. У меня было несколько подруг – очень немногих. Настоятельница догадалась, что они постараются найти способ потихоньку нарушить запрет и, не имея возможности беседовать со мной днем, будут приходить ко мне ночью или в неурочное время. Нас выследили. Застали меня сначала с одной, потом с другой. Этот неосторожный поступок превратили бог знает во что, и я была наказана самым бесчеловечным образом: меня заставили в течение нескольких недель простаивать церковную службу на коленях, отдельно от всех, на клиросе; питаться хлебом и водой; сидеть взаперти в келье; выполнять самую грязную работу. С теми, кого сочли моими сообщницами, обошлись не лучше. Когда нельзя было найти за мной вину, ее выдумывали. Мне давали одновременно несколько несовместимых приказаний и наказывали за то, что я не выполнила их. Передвигали часы церковной службы, часы трапез, нарушали без моего ведома весь монастырский распорядок, в результате чего, несмотря на все мои старания, я каждый день оказывалась виноватой, и каждый день меня наказывали. У меня есть мужество, но какое мужество может устоять против немилости, одиночества, преследований? Дошло до того, что мои мучения превратились в игру, в забаву для пятидесяти объединившихся между собой женщин. Я не в состоянии передать во всех подробностях их злобные выходки. Мне мешали спать, бодрствовать, молиться. То у меня крали что-нибудь из моего платья, то у меня пропадал ключ или молитвенник, то не запиралась вдруг дверь. Мне мешали хорошо выполнить заданную работу, портили то, что уже было хорошо сделано мною. Мне приписывали слова, которых я не говорила, и поступки, которых я не совершала. На меня взваливали ответственность за все на свете, и моя жизнь превратилась в цепь истинных или вымышленных проступков и в цепь наказаний.

Мое здоровье не вынесло столь длительных и столь жестоких испытаний. Я впала в уныние, грусть и тоску. Вначале я еще пыталась порой искать душевную силу и покорность судьбе у подножия алтаря и, случалось, находила там и то и другое. Я металась между смирением и отчаянием, то подчиняясь всей суровости моей доли, то стремясь освободиться от нее с помощью какого-нибудь решительного средства. В монастырском саду был глубокий колодец. Сколько раз подходила я к нему! Сколько раз заглядывала в него! Рядом стояла каменная скамья. Сколько раз сидела я на ней, опустив голову на край колодца! Сколько раз, охваченная смятением, я вскакивала, внезапно решив положить предел моим мукам! Что удерживало меня в то время? Почему я предпочитала тогда плакать, кричать, топтать ногами свое покрывало, рвать на себе волосы, царапать лицо ногтями? Если бог не дал мне погубить себя, то почему же он допустил все остальное?



То, что я скажу сейчас, может показаться вам очень странным, и все же это чистая правда: так вот, я нисколько не сомневалась, что мои частые прогулки к колодцу были замечены моими жестокими врагами, и они льстили себя надеждой, что когда-нибудь я выполню намерение, жившее в глубине моего наболевшего сердца. Когда я направлялась в сторону колодца, они намеренно отходили от него и смотрели в другую сторону. Много раз я находила садовую калитку открытой в часы, когда ей полагалось быть на запоре, и, как ни странно, это случалось именно в те дни, когда меня наказывали особенно тяжко. Свойственную моему характеру горячность они довели до предела и теперь считали, что я повредила в уме. Однако как только я догадалась, что этот способ уйти из жизни был, если можно так выразиться, услужливо подсказан моему отчаянию, что меня словно за руку ведут к этому колодцу, всегда готовому меня поглотить, я перестала о нем думать и начала искать другие пути. Стоя в коридоре, я измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, я бессознательно испытывала прочность моих подвязок; бывали дни, когда я отказывалась от пищи. Я спускалась в трапезную и сидела там, прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза и не притрагиваясь к подававшимся мне блюдам. Меня охватывало полное забытие, и я даже не замечала, как все монахини уходили и я оставалась одна.

Они нарочно удалялись совершенно бесшумно и оставляли меня там, а потом я бывала наказана за то, что пропустила молитву. Таким образом мне внушили отвращение ко всем почти способам самоубийства, так как мне казалось, что окружающие не только не противодействуют этому, но, напротив, всячески идут мне навстречу. Видимо, нам не хочется, чтобы нас вытаскивали из этого мира, и, быть может, меня уже не было бы в нем, если бы кто-нибудь делал вид, что хочет меня удержать. Возможно, что человек лишает себя жизни, желая привести в отчаяние своих близких, и что он сохраняет эту жизнь, когда видит, что смерть только обрадует их. Чувства, которые волнуют при этом нашу душу, неуловимы. В самом деле, насколько я могу припомнить свое состояние там, у колодца, мне кажется, что мысленно я кричала презренным женщинам, которые уходили, чтобы помочь преступлению: «Сделайте один шаг в мою сторону, выкажите малейшее желание меня спасти, подбегите, чтобы меня удержать, и вы можете быть уверены, что явитесь слишком поздно!» Право, я жила только потому, что они хотели моей смерти. Яростное желание вредить, мучить может быть утолено в миру. В монастырях оно ненасытно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.